

С Т А Т У Я

Святослав Игоревич Андриюшкин, так всамделишне зовут нашего героя, устало брел поздним вечером домой по пустеющим улицам большого города и на душе у него скребли серые кошки. Взгляд карих глаз его был печален, лицо задумчивое, а в руках нес он потрепанный, выдавший виды портфельчик. Был он невысок, статен, застеген в межсезонную импортную куртку и шевелюра его в блесках уличного света серебрилась благородной сединой. Но на душе у Святослава Игоревича, прямо скажем, было прискверно. И не потому, что жил он по подложным документам и прозывали его теперь "Валерой", и работал он грузчиком на товарной станции — к этому он давно уже привык, как к стоптанным домашним тапочкам, не впервой приходилось ему по долгу службы менять работу и имя, влазить в самую гущу утружденного люда; и не столько потому, что он никак не мог выявить и прямо указать своему шефу, то бишь, вышестоящему начальству, а точнее — полковнику Сивунчику, отпетых типов, пособников и всяческих там отщепенцев, которые как слизняки прижились на товарной станции и разлагающе действовали на несознательную часть рабочих и служащих, подрывая... о, нет, нет! не подумайте вагоны, склады, мосты — опасней: подрывая исподволь их худосочно-табунную веру в неоспоримые преимущества социализма, в завидность своего положения в обществе, в бескорыстие, благодетельность и нерушимость монопартийного владычества. Но главной причиной невеселого и можно даже сказать мрачного настроения Святослава Игоревича было однако сознание собственного бессилия перед властно влекущим его куда-то всколумученным судьбоносным потоком, что было сродни безысходному чувству обреченности загнанного в западню зверя.

Со станции давно уже поступали от "патриотов" и "доброжелателей" тревожные сигналы в различные советские и партийные

организации о нарушениях трудовой дисциплины, пьянстве, воровстве, приписках, и самое несносное, нездоровой и прямо-таки непатриотической атмосфере, сложившейся в расслоенном коллективе. Надо было срочно принимать какие-то меры. Этим занялись "компетентные органы". "Валера", как обычно, через бюро трудоустройства проник на новое место работы и вот уже на протяжении нескольких месяцев высматривал, выслушивал, вынюхивал опасную крамолу, примечал подозрительно-скрытных и излишне-болтливых субъектов и держал их под пристальным наблюдением. Все шло вроде бы хорошо и привычно, по плану, но его самого в последнее время пугал, да, да, именно пугал, вносил сумятицу в мысли и чувства общий дух и настроения царившие на станции, да и вообще вокруг.

Капитан госбезопасности Андрюшкин, как обыкновенный грузчик, таскал из вагонов мешки с сахаром и макаронами, бочки с пивом, ящики с колбасой и селедкой; разгружал с железнодорожных платформ цемент и кирпич, лес и шифер, контейнеры с различным оборудованием и машинами, станки и автомобили. Ох, и осатанела ему эта работенка! Было ему физически не так уж и надрывно, он оставался еще достаточно крепким и сильным, и не такие тяготы приходилось одолевать, но изо дня в день таскать всевозможные грузы с оупляющей монотонностью работа стало ему неваготу. Даром, что ли, учился он и потел на спецзанятиях, укрепляя дух и тело, чтобы теперь, на перекате лет, обернуться в бурлака и заниматься вот этим? Его лишь успокаивало сознание честно выполненного долга и приближение награды в виде заветной крупной звездочки, которая в его сладких видениях, словно радужная, бабочка плавно опускалась на его золоченные погонь.

Пил он вместе с грузчиками ворованную водку и пиво. Тащил и сам, что плохо лежит, чтобы быть как все. В теплой, подвыпившей компании, часто первым, начинал рассказывать антисоветские анекдоты, самые свежие, которые на днях слышал при тайных встречах от своих сослуживцев. Что-нибудь вроде:

"Вот, приезжает, значит, мать-старушка в гости к сыну в Москву, о т ч е н ь высокопоставленному чиновнику. А у того дача в старинном особняке, с огромными покоями да слугами,

выездными экипажами, то бишь, "Чайками". Везде чистота, порядок, паркет как зеркало, садовник и тот ходит по утрам розы стрижет. Пожила мать-старушка день-другой на всем готовом и стала домой собираться. — "Что это вы, мамаша, — спрашивает сынок, — неужели по своей деревне соскучились? Погостите еще хоть недельку, отдохните". — "Ой, боязно, сынок, — отвечает старушка, увязывая свой узелок, — не ровен час красные нагрянут? Что тоды делать будем? В гражданскую, у-у, лютовали-то как и бар жгли, цвя-цвя-цвя, не приведи Господь! И тебе не советую туточки боговать. Мы люди простые, крестьянские...". — перекрестила сына трижды она, облобызала и пошла со своей котомочкой восвояси, на отчую землю."

Или: "В колхозе "Путь к коммунизму" взяли сообразательство заполучить от свиноматки десято розовых поросят. Ну, взяли и взяли. Пришло, значит, время, но как не хлопотала заслуженная свинарка, а в приплоде оказалось только двое, пара то есть. Приходит она, значит, к председателю и говорит, мол, так и так, Петрович, что я ни делала, ни робила, и кормила и холила, а вот только двое поросят уродилось и больше уже совсем не будет, да и те синюшные, того и гляди копытца откинут. Не иначе, как кто порчу поносил. Почесал председатель озабоченно потылицу, — это же выговор схватишь, или вообще снимут, — и говорит: "Да, зарезала ты меня, Маруська, без ножа. Это же смехота одна выходит: брали обязательство десять заполучить, а получили только двух. Что же нам делать? Допишем-ка мы от себя еще хоть пару, вроде мы четырех получили, и так в райком отпрапортуем. Все не так стыдно будет". Приезжает, значит, председатель в город и долаживает секретарю райкома, что, вот, мол, так и так, как ни бились, ни трудились, но тяжкие трудности и хворь окаянная позволили получить от свиноматки только четырех поросят и больше нет никакой нашей возможности. Испугался секретарь, — это же значит, что план выполнен лишь на сорок процентов, не сносить ему головы. — "Без ножа ты меня режешь! — напустился он на председателя. — Весь план мне завалил! Есть только один выход выкрутиться нам с тобой: добавить от себя еще хоть двух. За чубы нас потрясут, да голова цела останется". Заявляется он сам в область и отчитывается уже перед секретарем обкома,

что, вот, мол, такие-то дела, тяжкие трудности и зловредитель-ства сорвали нам план и вместо десяти поросят мы сумели по-лучить только шестерых и ни на одного больше никак нельзя, ну никак. — "Орденами и медалями награждали колхозников? — спрашивает секретарь обкома". — "Награждали, награждали!" — "Премии давали?" — "Давали, давали!" — "В депутаты выдвигали?" — "Выдвигали, выдвигали!" — "Так какого ж черта?!" — "Э-э... дождика не было, запчастей вовремя не подвезли, — попытался оправдаться секретарь райкома". — "Что же мне в Москву докладывать прикажешь, — мрачно молвил обкомовец, — что мы здесь даром штаны протираем? Вот что, дорогой, допишем-ка от себя еще хоть пару поросят, авось и помилуют". Докла-дывает, значит, вскоре он в Москву, в ЦК, что так и так, удар-но все работали, трудились не покладая рук, но вот тяжкие погодные условия, природные катаклизмы и происки врагов чу-ток помешали с честью выполнить план и вместо десяти поросят мы дали любимой стране восемь. — "Подводите нас, подводите, — обиделись в Москве. — Что же мы нашему самому Наиглавнейшему доложим? Что план чуть-чуть недовыполнен? Да нас же всех тог-да отседа турнут в шею. Так, чтоб такого ни в коем случае не получилось, мы вот что сделаем: добавим от себя недостающих двух поросят и вся картина будет выглядеть совсем иначе, чин-чинарем. Понятно?" — "Как не понять, — обрадовался секретарь обкома". "Вот то-то". И докладывают они уже самому Наиглав-нейшему, что, вот, уважаемый тов. самый Наиглавнейший, мы рады Вам сообщить, что все планы и обязательства по производ-ству свиномяса выполнены на все сто процентов. Нашей несрав-ненной ударницей производства Маруськой добыто от свиноматки десять розовехоньких поросяточек. И бумагу с цифрами ему под нос этак тычут. — "Вот и хорошо, вот и замечательно, — гово-рит самый Наиглавнейший. — Славно потрудились все. Значит так: одного поросенка по торгдоговору за границу продадим, одного для нужд правительства оставим, но а остальные во-семь — народу... Как работаем, так и живем, товарищи! Глав-ное, чтобы у нас слово не расходилось с делом. Желаю вам но-вых успехов в работе!"

Все хохотали, а сам Святослав Игоревич пуще всех. И стран-

ное дело, в такие минуты ему действительно становилось полегче и посвободней, будто он мстил кому-то за свое ныне униженное положение и бескрылое существование и у него сам собой опадал с души какой-то обременистый, кряжистый камень.

Время шло, а пока ничего путного доложить начальству не мог. Не мог же он, в самом деле, докладывать в своих рапортах все о водке с килькой, да политических анекдотах, кто их теперь не рассказывает. Однажды сам генерал Евдокименко рассказал такое, что у всех, кто присутствовал в кабинете челюсти отвисли:

"Приезжает, — говорит, — как-то в школу, на встречу с пионериками, дряхлеющий буденовец, ветеран гражданской войны. Обступили его со всех сторон мальчишки и девчонки, вопросы задают, что да как. Страшно ли было? Много ли беляков порубили? Ленина видели? Вертит ветеран головой как гусь в разные стороны и только отвечать успевает. "К Ленину, — говорит, — не подступиться было, уж очень опекали. Ну, а страшно было, это конечно. И кровушки много пролили и своей, и чужой, и невинной". — "Ну, а если бы вам пришлось сейчас начинать жизнь сначала, как бы вы поступили? — подначил его конопатый мальчонка". — "Как поступил бы теперича?.. Да все так же, детки, все так же. Эх, мне бы коня моего боевого да шашку булатную! — вдруг загорелся старик. — Шпоры в бок, шашку наголо и во весь опор на врага, ура-а-а! — закричал он в восторге во все немощное горло и вскочил со стула, размахивая рукой. — Ура-а-а!!! За все беды народные, бей краснопузых!"

Святослав Игоревич чувствовал странное беспокойство от всего, что происходило на станции. От того, что месяцами томилась в тупиках неразгруженными вагоны, что на скорую руку, нескладно формировались грузовые составы и спешно отправлялись, часто не туда, где их с нетерпением ожидали. От того, что прибывало бракованным и побитым дорогостоящее оборудование и машины, недоброкачественные и испорченные продукты, такие к примеру, как подмоченные, в рваных мешках, сахар, мука; помятые, гнилые овощи и фрукты — все это с недовольными лицами отгружали себе заводские и общепитовские товароведы. От того, что пришедший plombированный вагон ароматного копчен-

ного балыка и черной осетриновой икры в жестяных банках был полностью увезен в продовольственные подвалы обкома и инструктора. Туда же последовал и вагон армянского пятизвездочного коньяка. Все это открыто и завистливо обсуждали за бутылкой армянского грузики, намазывая себе бутерброды паюсной икрой. Не часто выпадала им такая удача. А что он мог им в самом деле возразить? "Не вашего ума дело". "Не суйте свое свиное рыло". "Каждый сверчок знай свой шесток". Но его бы тогда по-пролетарски грубо одернули и напомнили о славной нашей Конституции, о свободе, равенстве и братстве, о которых толдывают и треплются денно и нощно по радио, телевидению, в газетах и журналах. А какое тут к черту равенство и братство, когда одни спину гнут и водку пьют, а другие всем заправляют, коньячок попивают да сплошным дефицитом чрево и душу ублажают. Да и вообще, тогда бы от него все отвернулись и потеряли к нему всякое доверие. А вот этого-то никак нельзя было допускать, никак. Да и зачем людей лишний раз раздрожать? Он лишь слегка поддакивал, кивал головой и самое ужасное — все чаще внутренне соглашался с ними. Святослав Игоревич сам пугался этих новых занозистых, бередящих сердце чувств и полагал, что это он так мастерски, как заправский актер, вжился в свою очередную роль, что думает и чувствует как все и солидарен со всеми. Но выйти, выйти из этойжигающей роли оказывалось не так-то просто и зависело не от него. Он прекрасно понимал, что для изменения образа мыслей его надо было прежде всего вытянуть из этого засасывающего болота, чтобы он мог спокойно и чинно надеть свой парадно-выходной мундир с парчовыми лимонными погонами и благоговейно сесть за один стол с уважаемыми людьми. Тогда бы он совсем иначе и правильнее уяснял и оценивал все то, что происходит вокруг. Сверху, ведь, виднее! А теперь?.. Теперь он лишь со слабой надеждой ожидал успешного завершения операции "Станционный смотритель" и майорская звездочка с каждым днем истаявала вдаль, как вечерняя зорька в небе.

Время привычно летело вперед, а недели и месяцы не приносили Святославу Игоревичу ничего утешительного. Неурядицы и злоупотребления, которые он замечал, были не по его части; да и сам он успел уже увериться, что ничего серьезного здесь, на

станции, не было и след, который он брал, всякий раз оказывался ложным: никто не готовил забастовку, не разбрасывал листовки, а недостачами и воровством пусть бы "бухарики", то есть ОБХСС, и занимались, так нет же, ему, кадровому бойцу идеологического фронта, приходилось подобно наседке чего-то высисывать и разгребать в этой навозной куче. А начальство уже косо поглядывало на него и все чаще вызывали к шефу на "ковер". Ну что он мог ему доложить? Все о том же: колбаса, водка, анекдоты...

Множились тревожные слухи, дорожала жизнь, все больше у людей проявлялся цинизм в суждениях и поступках и не было видно конца испытаниям и сомнениям нашего героя. И лишь дома... Но не будем спешить, дорогой читатель, что дома, а лучше проследим за Святославом Игоревичем Андрюшкиным сами.

— Вот врет, вот врет! — наверняка подумал уже об авторе какой-нибудь докучливый и внимательный читатель, знаток жизни. — И кому это он хочет лапшу на уши повесить, поведывая о каких-то там сомнениях посеявшихся ~~нигде~~ вдруг в душе доблестного рыцаря комитета госбезопасности. Разве возможно это? Разве не вытравливаются годами из их душ и разума всяческие сомнения и суждения, если они там вообще могут быть?

Вы правы, читатель, и автор с вами совершенно согласен, там — сомнений быть не может, как не может их быть, к примеру, у лакея, подобострастно исполняющего свои обязанности. Но!.. Ведь это нетипичный и даже уникальный случай, и не вдруг. Святослав Игоревич ранее тоже не имел никаких сомнений, хотя, вероятно, не было у него и твердых убеждений, но по крайней мере он верил, хотел верить, в справедливость и разумность существующего социального устройства, в котором он жил, в верноподданническую полюбовную сплоченность всего советского общества сверху донизу под знаменем единой и обязательной для всех Идеи, которая как Истина едина и абсолютна, а так же единственна, хоть и ухабист, путь к ней, по которому и идет наш избранный народ под мудрым руководством великой, непогрешимой, умудренной аки змий искуситель Партии к Совершенству, всеобщему счастью и просветленной Правде. Но увы, вера человеческая — таинственная вещь и всей увесистой корнеплодной глыбой

своей покойся за порогом сознания, и не всегда удастся извне, помимо личностного опыта человека, навеки препарировать ее в рациональную идеологию, заглушая всякие зазеленелые ростки. А жизнь бурлит, слишком много людей и все разные, и всем жить нелегко, и всяк глядит на мир сквозь собственный зрачок, и у каждого свой неповторимый характер, особая совесть, своеобразные привычки, врожденные способности и потребности, своя Правда, и всякий ищет свою заветную тропинку к ней. И справедливо ли загонять всех гуртом на одну столбовую дорогу? Да и к Истине ли ведет она, не в болото ли? А то, ведь, все скопом там и покончим. И надо ли в таком случае упираться своими слабосильными ножками в плывущую под ними почву? Увязнешь ведь, уже завяз... Государственный ум, мудрость, не замечая, перешагивают через тысячи, миллионы маленьких человеческих жизней, не испрашивая на то их разрешения и желания, их своеобразных целей, а те мечутся, бьются в силках истории, изнемогают, пыжуются, поплотнее втискиваются или с надрывом вырываются из общего единого потока к единой Правде. Воистину, библейское шествие в пустыне, даже и со пророками. Разуверившихся и ослабевших рьяные церберы засекают плетью до смерти и бросают медленно издыхать под палящими лучами полуденного солнца. И очень скоро обглоданные стервятниками и шакалами белые кости засыплет горячий песок, навеки похоронив чью-то боль. А "железный поток", глядишь, вновь выходит к заповедному месту, возвращаясь на круги своя. Нет, не может быть! Это не то шествие, не те люди, те умерли давно, подступают иные. Да куда же идут они? Зачем? А все к той же, единой и абсолютной. И шагают все дружно в ногу, и не в пустыне уже, а по широкой мощенной площади, движутся размеренными колоннами мимо трибун, звонко звучат фанфары и зычные торжественные команды: айн-цвай, раз-два, левой, левой... Нет, прочь наваждение, прочь метафизику, жизнь все может вывернуть на изнанку и переменить, и переменяла уже, и душу, и веру, и идеи, и отношения между людьми, кроме разве пустоты и чеканного шаблона. Не все, к счастью, еще заглохло и заплесневело, не у всех достает тупости и упертости не замечать происходящих перемен и не отзываться на сокровеннейшие человеческие нужды. Иногда забеспокоишься и отчаешься уже, а тут-то, она, эта самая жизнь, и под-

толкнет тебя на новый, совершенно неведомый тебе путь. Как тут быть? Пятиться назад, в свою ненадежную идейную скорлупку? Но не рискуешь ли ты остаться там навеки задохшимся, невылупившимся птенцом?

Еще когда только Святослав Игоревич начинал на великом трудном поприще жандарма, после окончания училища комитета госбезопасности, служил он одно время в качестве "подсадной утки" в следственном изоляторе, где в душных, полуподвальных, сумеречных камерах предварительного заключения выпытывал, подсматривал, подслушивал обвиняемых и доносил все начальству, или вкрадчиво наущивал неопытных чистосердечно раскаяться и выложить, как на духу, все следователю: все равно, мол, тюрьма, а так меньше дадут, а то и помилуют. Правда, редко кто попадался на эту удочку, еще реже тому, кто клевал, меньше давали, и уж вовсе не миловали. И вот однажды, не то как-то узнал, не то по велению сердца, его сильно избил один уголовник, здоровенный бугай, взятый при групповом ограблении валютного магазина "Березка". Хотел он того раскрутить выдать своих сообщников, а тому почему-то "отчень" не понравилось это. Ох, не понравилось!.. Вынесли его тогда на руках надзиратели, скоро примчавшиеся на шум, а он все еще бился в беспамятстве и кричал: "За что? Я не виноват!.." Ну, а что уголовника того вздули потом не хуже, да еще и сроку добавили, его уже не затронуло и не порадовало. Но работать там больше он уже не смог. Его перевели на более легкую работу, благо поле деятельности органов широкое, но после этого случая, словно что-то оборвалось у него внутри, расхлящилось и расплылось некогда костяное, мафиозное чувство принадлежности к меченосному, неподсудному, потайному ордену и властно поселился в нем неодолимый животный страх перед грубой силой, страх за свою собственную жизнь. Он вносил неуверенность во все поступки и начинания, подрывая веру в благополучный исход дел, за которые он брался, надламывал поверхностные, искусственно намытые пласты идейных убеждений, гасил честолюбивые мечты. Ему необходим был верный друг или некий зримый идол, который защищал бы его раненую душу от собственной слабости, личных неурядиц, смутных сомнений, подпирал бы его увядающую волю, наполнял бы незыблемой мраморной

верой в установленные с железобетонной необходимостью коммунистические идеалы — светлое будущее всего человечества, о чем много читал Святослав Игоревич в книжках еще юным пионером и комсомольцем, упорно и слепо верил молоденьким чекистам, но что потускнело и осело серой пылью на бренную землю в зрелые годы, когда он полнее и глубже познавал и впитывал вокруг себя непростую и тягостную человеческую жизнь.

Усталый, придавленный дневными заботами, с невеселыми думами "Валера" вошел в парадный подъезд своего многоквартирного дома и неспеша стал подниматься по заплесанной лестнице на третий этаж. И, о чудо! чем ближе подходил он к своей двери, тем прямее становилась его спина, расправлялись плечи, прояснялись мысли, ~~з~~твердел дух. "Валера" привычным движением провернул в английский замке ключ и вошел в продолговатый коридор, зажег матовый неяркий свет... и перед Святославом Игоревичем Андрушкиным во всем своем могучем росте и беломраморном блеске, подсвеченный кинолюбительскими прожекторами, отбрасывая тень на стену, предстал в натуре — Иосиф Виссарионович СТАЛИН! Он смотрел прямо перед собой, куда-то в далекое далеко, за стоящую перед ним подрыпанную коридорную дверь, и было ясно, что видит он что-то такое, чего не видит никто. Это было величественно и прекрасно. Глаза Святослава Игоревича наливались алмазно-стальным блеском и начинали излучать такой же холодно-снежный свет, дыхание углублялось, сердце плавно пружинило, мускулы напряглись — хотелось куда-то идти, приветствовать, рапортовать. Двухметровый каменный идол на низком постаменте, зажатый в узкое пространство коридора, производил неизгладимое впечатление. Святослав Игоревич усмехнулся, вспомнив, как несколько лет назад, пришедшая к нему в гости контролерша Верочка, — это когда он работал водителем троллейбуса по изучению нравов пассажиров общественного транспорта, — внезапно очутившись перед светящейся статуей чуть не лишилась чувств и не упала в обморок. Она подумала, дуреха, что он живой. Даже ночью у нее еще долго тряслись коленки и гулко срывалось с ритма сердце.

А в другой раз навестивший его отставник-генерал, оправившись после первого потрясения, опустился на колени перед

изваянием и зарыдал как ребенок. Что он вспомнил? Чего не хватало этому престарелому седому человеку? Попраной веры, канувшей в лету удалой молодости, или уж такова магическая сила идолов? Они долго потом еще просидели на кухне, пили водку и доказывали друг другу свои наболевшие думы. Осовелый генерал хвалил его преданность, много говорил о своей честно прожитой жизни, ругал нынешнее, погрязшее в коррупции правительство, подливал стопку за стопкой и все кричал:

— Не-е-ет, нас голыми руками не возьмешь! Мы старые ежи! У нас нервы крепкие. Будущее за нами, социализм еще докажет, армия еще покажет кузькину мать! Прочь с дороги! Проклятых капиталистов сотрем в порошок! — он выкатывал глаза, страшно скрежетал зубами, а потом вдруг сникал и начинал жаловаться: — Разве это власть? Где порядок, дисциплина? Где герои? Герои где, я тебя спрашиваю?! Сталин, Хал-Хин-Гол, Чкалов, Испания, напасаран, га, что, молчишь? В армии разброд, разложение, никто ничему не верит, каждый себе урвать побольше хочет, генералов за людей не считают! Разве раньше так было? Вера была, Ве-е-ра!.. Понимаешь? Верили Сталину, в коммунизм... Ну, вот, ты, скажи мне честно, ты — веришь? Не-е-ет, ты скажи честно, ты веришь в коммунизм? Не бойся, тут никого нет... А, молчишь, пентюх, молокосос...

А однажды заезжий грузин, свой человек, просил, умолял, давал за Сталина десять тысяч наличными. Не отдал. Это же память! Святослав Игоревич гордился своей статуей, сжился с ней и делал свое многотрудное дело во многом благодаря ей. Сколько раз бывало про себя и в голос беседовал со Сталиным, поверяя ему самые сокровенные свои чувства и мысли; сколько раз после такого откровенного разговора с вождем приходило к нему облегчение и озарение, уверенность в свои силы и избранный путь; сколько... А теперь расстаться? Никогда! Ему он тоже достался нелегко. После XXII-го съезда партии и напористого хрущевского петушиного наскока на культличность, когда начался массовый вынос всех памятников и бюстов великого кормчего из учреждений, заводов, вокзалов и детсадов, и переименование городов, площадей, улиц и больниц, Святослав Игоревич умудрился перевезти к себе на квартиру беломраморную статую Сталина, двадцать лет простоявшую в холле обкома партии. Тогда еще молодой лейтенантик, недавно назначенный в спецотдел областной

Мекки, куда его приютил бывший тесть, заведомо пропаганды, он получил задание вывезти ее за город, разбить, раскрошить и рассыпать по пустырю, но он... он не выполнил приказ и спрятал ее у себя дома. Он рисковал. Ему это тоже было нелегко. Его могли изобличить и разжаловать. Но, чего греха таить, не один он оказался тогда таким умником, многие прятали, что могли. Не зная этого, он бы и сам не рискнул. Долго потом она пылилась завернутая в старые одеяла в углу за шкафом. Лишь изредка, как женщину, он бережно раскутывал ее и любовался ее белизной и крепостью, или под большим секретом показывал на зависть доверенным сослуживцам. Но времена меняются, стареют, ветшают не только люди, вещи, мода, но и законы, знания, убеждения, идеологии. Святослав Игоревич решился наконец открыто выставить статую в коридоре на всеобщее обозрение. Грозный, немой истукан, бывший некогда кумиром миллионов, стал теперь его личной святой реликвией и даже — религией.

И сейчас, Святослав Игоревич постоял тихо несколько минут перед окаменелым божеством, напиваясь пролетарской крепостью, и погасив свет, побрел на кухню жарить яшницу. Он извлек из кургузого портфельчика все ту же неизменную банку кильки в томатном соусе, две бутылки пива и ребристый поджаристый батон, который он теперь всегда покупал, возвращаясь с работы, в захудалом тесном магазинчике, рядом со станцией. Жил он по-холостяцки, жена ушла от него с сыном уже давно, еще когда он работал помощником балетмейстера в оперном театре по проверке в благонадежности балетной труппы, выезжавшей с гастрольями за рубеж, и спутался там с обладательницей изумительной талии и точеных ножек, ах, прелесть — Цецилией. Он звал ее — Сицилия, переименовав по-своему это странное итальянское имя, — моя Сицилия. Когда на репетициях, работая у станка до седьмого пота, в черных трико, он поддерживал ее за тонкую талию, как горло ходившую под его ладонями, он не замечал ни усталости, ни времени, только чувствовал близость ее тела, видел ее вымученную улыбку и лукавые глазки... Блаженные дни! А как изящно она делала всевозможные "а-ля круть" и "а-ля верть" — неподражаемо! Но все кончается плохо в этом мире, как на личной шкуре испытал Святослав Игоревич. Коварная Це-

цилия все равно сбежала во Франции вместе с главным балетмейстером, а его "за потерю бдительности и своевременное невыявленные преступные замыслы", а так же "за личные симпатии" понизили в звании и услали на грязный и шумный, весь провонявший пылью и гарью вагоноремонтный завод, выявлять недовольных условиями труда. Ох, уж этот завод! Дерьмо, а не завод! В Верховном Совете получили анонимное письмо, в котором неизвестные авторы, или автор, жаловались на ущербно-пакостные условия труда, нахрапистые авралы, мишурно-плакатную технику безопасности, высокий травматизм, необузданность начальства, бездействие и продажность официозного профсоюза. Все бы это ничего, такие коллективные заявления там не редкость, но вместо булжных заклинаний в преданности партии и правительству, и решениям последнего партсъезда, да холопского просительства в заступничестве от произвола начальства — как будто администрация предприятий не прямой исполнитель воли централизованного правительства — в этой петиции содержалась угроза начать забастовку и сорвать работу всего завода, если надлежащие меры в ближайшее время не будут приняты и положение коренным образом не изменится, что вызвало панику в Совете и соответственно активность "компетентных органов". Святослав Игоревич умело внедрился в рабочую среду, освоился там и скоро стал своим человеком. На этот раз он не ударил в грязь лицом, верно засек нескольких "застрельщиков" и помог вовремя разрядить взрывоопасную обстановку. Самые "зачинщики" и "главари", как оказалось на суде, авторы злополучного письма, были повязаны, обвинены в подстрекательстве к беспорядкам и экстремизме и запроторены в тюремные казематы; а еще несколько десятков "недовольных" и "строптивых" рабочих были попросту уволены с завода. Эта операция чуть упрочила пошатнувшееся положение Святослава Игоревича, но не совсем. Раз потеряв доверие, потом уже очень трудно его восстановить сполна. И в своей дальнейшей службе, все чаще неудачной, его обычно теперь пристраивали на заводы и стройки, в мрачную среду забродившего рабочего люда, безгласым низам общества, что неизменно накладывало на его характер, привычки и интересы свою тяжелую неизгладимую печать. Он пристрастился к алкоголю, этому страшному опуму для народа, замкнулся в себе, потерял рвение к службе и не

испытал уже ни ~~с~~ чистлюбивых замыслов, ни острых желаний, но лишь пытался удержать внутри себя душевный покой и привычный налаженный уклад жизни, что отчасти ему и удавалось. И только иногда все же от блестящих звездочек на чужих погонах у него по-прежнему зарябит в глазах и с болью сожмется в душе что-то похожее на зависть к более удачливому службисту.

Святослав Игоревич вскрыл банку кильки, выложил на тарелку шипящую яшнису и достал из буфета початую бутылку "Столичной". Прищурив один глаз, с серьезной миной, наполнил себе по край рюмку водкой и опрокинул ее одним махом в рот, икнул, перекосясь и поспешно запил минеральной водой. Пошептав что-то губами и помянув кого-то нехорошим словом, он налил и пропустил еще одну рюмку, которая пошла уже значительно легче и он почти не покривился, только ухнул, густо выдохнул и налег на трапезу, вертя шеей и вздувая желваки на скулах. Скоро подошла очередь и за третьей рюмкой, которую он проглотил как воду, с каменным лицом и только усмехнулся, вспомнив старую народную мудрость: первая рюмка колом, вторая соколом, а за третьей... мелкими пташками.

Святослав Игоревич уплетал свой скромный ужин и досуже размышлял о хитросплетениях жизни и превратностях судьбы, о суетности человеческих усилий и эфемерности счастья, о черстводушии и зависти людской. Вот взять хотя бы его, Святослава Игоревича Андрюшкина, когда-то у него было все прилично: удачно выстроенная карьера, непыльная и интересная работа с интеллигентными людьми, сначала в аппарате обкома, потом в оперном театре; была хозяйственная милая жена, страстно желанная Сицилия, продвижение и уважение по службе, и вдруг — ни тебе заботливой жены, ни сексопильной Сицилии, ни культуртрегерской работы. Разве не обидно это человеку, не горько? И почему все это? А потому, что люди завистники, изменники, эгоисты, дай им волю — друг другу горло перережут. И вот он, Святослав Игоревич Андрюшкин, самолично на самом переднем крае борьбы за всенародное счастье и справедливость, пожертвовал, можно сказать, своей жизнью и что же, где награда, благодарность? Фига под нос, а не благодарность. И это за столько лет преданной службы! Бессонных ночей и самоуничиже-

ний! Только и надежды теперь осталось — выйти на пенсию майором. Мерзавцы, скоты...

Уже покоясь в постели, хрипло дыша, тяжело переваливаясь со спины на бок, Святослав Игоревич все еще продолжал ругать и проклинать кого-то неведомого ему, вставшего мрачной дыбой на его пути, попутавшего его небесный жребий и лишившего простого незамутненного человеческого счастья; пока мирно, с убагостившимся лицом, не захрапел и не уснул, давая покой и отдых каждой клетке своего натруженного тела и мозга, столь уставших в постоянной борьбе с самим собой.
